

**РАБОТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ МНЕНИЕМ ЖЮРИ
конкурса 2022**

*Ольга Валентиновна
Баракаева (Москва)*

365 КОМНАТ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

— Ты что, не знаешь этой истории, двоечница? — Саша насмешливо блестит из-под очков единственным уцелевшим на войне глазом. — Жена богатого русского князя заболела чахоткой, тогда неизлечимой. Врач посоветовал семье переехать на Кавказ и сделать так, чтобы больная всегда спала на новом месте, где воздух чист от бацилл. Муж послушался: купил землю в Гульрипше, построил дворец из 365 комнат, по числу дней в году, чтобы жена ежеутренне переходила в новую спальню, и разбил лучший в Европе сад — чтобы глядела на красоту и знала, что мир ждет ее. Дышала, дышала ненаглядная супружница Ольга, тезка твоя, морским воздухом — и не только выздоровела, но и мужа пережила.

Мы бродим вокруг огромных руин с остатками лепнины. У входа торчит пальма ростом с Останкинскую телебашню. Сад погребен под зарослями ежевики; колючки вцепляются в одежду, чертят красную клинопись на коже. Аккуратно, по

иголочке, выпутываюсь из цепких плетей. В дендрарии сохранилась непроходимая бамбуковая стена и плечистая магнолия, чьи гладкие, твердые листья блестят как новенькие. Колонны и внешние стены здания пока держатся: толстые, в четыре человечесьи руки, стволы лиан обметали кирпичную кладку, проштопали насквозь — и она не падает. Анфилада заросла деревьями, вместо потолка — плетенка плюща, дворец стал прозрачным и больше напоминает каменное кружево. Осторожно глажу шершавое свидетельство любви, сумевшей победить смерть. На ладони остается меловой налет, и мне почему-то жаль его стирать.

— Ты меня вообще слушаешь? — боевой полковник сердито дергает скулой и добавляет громкости: наказывает за невниманье. — Это распиаренная баечка, а вот быль: хозяин, Николай Николаевич Сметкой, фабрикант, действительно бросил лесопильню и увез жену — Ольгой Юрьевной ее звали — в горы: поверил эскулапу. Климат подошел умирающей; Аpsны, «страна души», исцелила ее. Абхазия не всегда была курортной мечтой, хотя и считается, что рай находился под Иверской горой. То

было давно, а потом земли заболотились, лютовала малярия, комарищи с кулак, и сюда на погибель ссылали преступников. Смецкой посадил эвкалипты, деревья-насосы, осушил болота и превратил рассадник лихорадки в знаменитый пляж. За два миллиона царских денег возвел санаторий для легочных больных — этот самый, где 365 комнат, затем второй и третий — с лифтами, отоплением и даже ледоделательным заводом.

Низкое солнце припекает плечи, мы снимаем толстые свитера и радуемся южному зимнему теплу. Поодаль качаются две ветви мандаринового дерева, отбрасывая недорисованные тени. На ветру силуэты шевелятся, то расходятся, то сливаются, и кажется, что это влюбленные спускаются с холма — мужчина с мягкими славянскими скулами и русой бородкой и темноволосая молодая женщина, худая, почти несуществующая. Чахоточный румянец на узком, остроносом лице исчезает под загаром. Поддерживая под невесомую руку, Николай ведет жену по созданному ради нее парку.

— Пансион стоил пациентам 125 рублей в месяц. Для сравнения: рабочий получал до 400, учитель — до 1 000 рублей. Здравницы не окупались, содержание легло на владельца. До Сухума Советская власть добралась в 1921 году. Смецкие не покинули страну. Князь собрал столовое серебро, явился в Ревком, отдал все имущество — и старику оставили первый этаж, где он доживал со своей драгоценной. В период сбора урожая

семью уплотняли поденными рабочими. Санаторию присвоили имя Ленина. За год до золотой свадьбы, в 1931 году, Смецкого унес инсульт. Девять вдовьих лет Ольга Юрьевна нищенствовала — пекла пирожки, клала на расписной поднос и продавала на пляже, появившемся трудами ее супруга. Покупателям нравилась приветливая пожилая дама, всегда элегантно одетая, в шляпке и белых перчатках. До распада СССР санаторий действовал. Во время войны сюда не прилетели снаряды, но мародеры разграбили дом. Сперва украли по мелочи — посуду, кресла, потом утащили окна, паркет...

Саша замолкает. В мыслях он сейчас снова сражается за русские земли — молодой, зрячий. Стоит ровно, по-военному. Офицеры никогда не проседают на одну ногу, не приваливаются плечом к стене.

Сажусь на засыпанные светлым крошечком ступени. Дома без хозяев умирают быстро. На раскрытой ладони — меловой отпечаток. Неужели единственный след, оставленный Смецким, — вот эта белая пыль? Обидно, что все знают легенду и почти никто — самого мецената! Вернусь домой, напишу и придумаю простой счастливый конец: пусть в оранжевой хмаре над кипарисовой аллеей живой, любящий Коля несет живую, красивую, здоровую Олю в спальню. Или в море. И собака, пусть у них обязательно будет собака! Скотч. Нет, лучше йорк!

Слегка подтаскивая правую ногу, подходит Саша.

— Тебе, чукотская школьница, рассказывать бесполезно: все завтра перезабудешь, — кусается, сры-
вает настроение.

Беру старого друга за руку, веду к машине.

Мы полюбились этой земле, где нанизанными на нитки солнцами сушится хурма, а по склонам — от снеговых папах до разгоряченных подножий — мчатся водопады, один из которых зовут Ольгинским; потоки срываются со скал и растворяются в золоченых озерах.

Закат перекрашивает в цвета кипящей лавы наши лица, солнечным ластиком стирает морщины, и две ногастые тени, то ли наши, то ли Смецких, убегают далеко вперед — не догнать.



Владислав Бахтин
(Московская область)

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

Повсюду была разлита преду-
тренняя тишина: собаки, уставшие
от ночного дежурства, дремали; пету-
хи, прогнав своим пением нечистую
силу, отдыхали; солнце, нежившееся
в своей опочивальне, не выглядывало
лучами наружу. Зато я с папой бод-
рым шагом подходил к месту, которое
некогда называлось Коммунна имени
В.И. Ленина. От коммуны не осталось
камня на камне, только выродивши-
еся яблони, сливы и груши упорно
твердили: «Здесь были люди».

Мы достали свой металлоиска-
тель и не торопясь двинулись. Сред-
няя весна — самое подходящее время
года для копок. Снег уже сошел, трава
только-только проклюнулась, земля
податлива. Мы специально приеха-
ли на папину родину покопать. У нас
была карта Старополтавского района
Волгоградской области за 1936 год,
составленная РККА. Место было пу-
стынным, но металлоискатель неи-
стовал: вся земля под нами звенела.
Как учили опытные копальщики,
рыть надо везде. И мы не торопясь
приступили.

Вначале нам попадался сплош-
ной хлам, которого так много вокруг
человеческих стоянок. Это повелось
еще с древних времен. Я думаю, что
по мусору можно определить о нра-
вах людей гораздо больше, нежели
по культурным находкам. Копали

в пол-лопаты. Через каждые полметра находили алюминиевые пробки-«бескозырки» от советских бутылок. В стране, победившего социализма, этого мягкого удобного цветмета было хоть отбавляй.

Углубляясь в культурный слой, находки пошли интереснее: кончик от лопаты — царицы крестьянского хозяйства, кусочек от шпингалета с клеймом производителя Т.М.А. Глаголевъ, наконец, серебряные двадцать копеек 1922 года РСФСР. Прикинули — невелика находка, рублей на 160 потянет. И вдруг... И вдруг откопали гильзу. Очистили от земли, стали рассматривать. Оказалось, что выпущена в 1913 году. «Чья ты такая? — подумал я. — Кому досталась?»

Дед Григорий сидел на низенькой лавке, когда-то им самим сколоченной и вкопанной на задах хозяйственных построек дома, которому было 107 лет и был годом старше своего хозяина. Солнце прошло середину своего каждодневного пути и уже приступило к спуску. Его развеселившиеся на ходу лучи были не по-весеннему жарки. Дед Григорий, одетый в теплые с начесом штаны, поверх которых заботливая 83-летняя дочь натянула козьи гетры, в сапогах, прозванных в народе «прощай молодость», в истлевшей фуфаечке и бейсболке, подаренной правнуком на 100-летие, с надписью: «Восьмое чудо света» — усохший, словно курага в духовке, сидел и счастливо жмурился на солнце. Я подошел, вежливо здороваясь.

— Ты чейный? — спросил дед Григорий голосом, который дребезжал в унисон с его подрагивающей кистью руки.

Я ответил.

— А годков тебе сколь?

— Четырнадцать.

— Учишься аль работаешь?

— Учусь.

— Хорошо аль по-всякому?

— Отличник.

— Коль не брешешь, то сидай, — и дед Григорий предложил мне сесть рядом с ним.

— Дедушка, — начал я, разжав ладонь и показав гильзу, — сегодня нашли в Коммуне, тринадцатого года. Может, знаете, как она там оказалась?

Дед Григорий пергаментными пальцами взял гильзу, покрутил так и эдак, вернул и подытожил:

— От трехлинейной винтовки образца тыща восемьсот девяноста первого. Их туть многа было. Может, слышал про винтовку Мосина?

— Я загуглю.

— Загуглит он, — передразнил меня дед Григорий, явно потешаясь над моим невежеством, — мой правнучек тоже без Гугла ни гугу.

— Дед Григорий, а что в Коммуне произошло?

Дед задумался, а потом, всматриваясь вдаль, словно отмотав 100 лет назад, поведал мне историю.

В январе 1921 года продовольственный комиссар Михаил Пятаков возвращался домой на побывку в свой родной Царев Саратовской губернии. При себе имел трехлиней-

ку, несколько новеньких хрустящих банкнот номиналом 1 000 рублей, жинке серебряную брошь с маркизами, позаимствованную у одной дворянской особы за ненадобностью, сыночку-первенцу — жестяного конного буденовца, то-то радости шестилетнему мальцу. Но, уже подходя к дому, почувствовал неладное: амбар стоял обугленный, дом как будто покосился, пугала повисшая в округе смертельная тишина. Прибавив шаг, Михаил взлетел на крыльцо, через сени в дом и замер в дверях. Посреди не хаты лицом вниз, широко раскинув руки на полу, лежал его отец:

— Батя! — крикнул Михаил чужим голосом и кинулся к нему.

Отец тяжело, будто с глубокого похмелья, поднял голову.

— Живой! — захрипел сын, и слезы хлынули градом. Он прижимал к себе отца, не осознавая, что за один только миг он потерял и обрел отца.

— Сынок! Сынок! — загрохотал отец. — Всех порубили! Всех! На моих глазах! И мамку твою, и жинку, и Коленьку нашего.

— Кто, батя? Кто? — заскрежетал Михаил.

— Все забрали! Все забрали! Мамка выскочила к амбару: не дам, говорит. Ее тот, что с саблей, поперек зарубил, а Варенька твоя, кинулась к ней, ее за косу и в погреб, надругались.

— А ты, батя, — заревев звериным рыком, — вскричал Михаил, — ты где был?

— Скрутили меня, кинули на землю, как полено, и... — завыл отец недоговорив.

— Вставай, отец, пойдем, найдем, убьем, — сказал сын, поднимая с пола колодой лежащего отца.

— Не могу, сынок, ноги отказали, не слушают, — и, приподнявшись на локтях, с глазами, полными пустоты, вложив в слова всю ненависть и проклятья, прошипел:

— Пойди и отомсти! Благослови тебя Господь!

Коммуна жила четырнадцатью дворами, хорошо жила, дружно. Все поровну, все по справедливости, все сообща, помогая и поддерживая друг друга. И все было бы хорошо, если бы не набег банды степняков, которые объявили себя ополченцами, сражающимися за освобождение крестьян. Началась посевная, когда один день весь год кормит, а тут на поле без винтовки не выйдешь. Два раза удалось лютую банду Пятакова отбить, но враг коварен и силен, говорят, в его отряде уже пятьсот сабель и три пулемета. Сегодня, двадцатое марта — самый благоприятный посевной день. Всей коммуной вышли засветло в поле. Сыночек Гришатка, вон как деловито разбрасывает семена. Ладный паренек растет, не смотри, что шестой годок, славным помощником будет.

— Гришаня, — зовет его отец, — сгоняй до телеги, принеси воды.

— Сейчас, тятенька, я мигом, — и постреленок быстрее ветра помчался исполнять просьбу.

В это время и появилась банда Пятакова, налетела, как песчаная

буря. Зарубила трех коммунаров, остальных шашками погнала к хутору. Гришаня вдавился всем своим существом в землю под телегой и из-под колеса видал расправу над своими. А когда скрылись, бросился к отцу, позвал его, но батька широко открытыми глазами, не мигая, смотрел в бесконечное небо.

Гнали коммунаров через село Валувка до самой Волги. На глазах женщин и детей били и издевались над их беспомощными мужьями и отцами, а потом всех утопили, словно щенят.

Дед Григорий замолчал, затем добавил:

— В каждом человеке зверь сидит. Всю жизнь ты с ним сражаешься: то он тебя, то ты его.

— Дед Григорий, а вам удалось победить своего зверя? — поинтересовался я.

Дед посмотрел на меня лукаво, затем ответил:

— Давно мы с ним на лопатках лежим. Ничья, милоч.

Я попросил у папы, чтобы он купил банку красной краски. На следующий день пришел в Коммуну, подошел к лежащему на боку обелиску героям, павшим в годы Гражданской войны, поднял его, укрепил, покрасил звезду. Густая багровая капля медленно скатилась к нижнему острию звезды и тяжело упала на молодую траву. Рядом с обелиском положил гильзу. Я вспомнил слова деда Григория:

— Темные были времена, да и сейчас не светлей.

*Даша Берез
(Дарья Сергеевна Бейм)
(Московская область)*

ИВАНОВ ДОМ

У Ивана-старшего был дом. Там родился Иван-средний, потом — Иван-младший. Иван-старший построил дом своими руками, весь, от первой ступеньки на крыльце до флюгера-петушка на крыше. Посадил у калитки ели, у сарая — яблони и облепиху, а на всем остальном участке — картошку, чтобы было чем кормить средних, младших и тех, кто будет после них.

Сначала умер Иван-старший, потом — Иван-средний, и остался только дом. Пока Иван-младший приватизировал землю, на участке случился пожар — пламя перекинулось от соседей, и за несколько часов от творения Ивана-старшего остался только почерневший скелет. Когда все документы были, наконец, готовы, Иван-младший стал полноправным владельцем сгоревшего дома и пустого участка.

Дед всегда говорил, что дом — это свобода, но для Ивана-младшего дом был кабалой, вечной работой. После школы он переехал в институтское общежитие, потом — в двухкомнатную панельку к жене. У Ивана-младшего не было ни крылечка, ни флюгера, а его свобода была в том, что жилище принадлежало ему, а не он жилищу, и снег во дворе убирал дворник, а капитальный ремонт делало жилищное управление.

Они с женой еще долго пытались продать участок, но место было неказистое, с такими же брошенными домами у соседей, и все продавали, но никто не хотел покупать. Вскоре на этой земле поставили крест и стали жить дальше.

Впрочем, жену Ивана-младшего мысли о продаже дома не отпускали. В стране шел кризис за кризисом, и ее мечты летали от большой к маленькой, как подбитые газетой мухи.

— Продать бы дом, — бывало, говорила она, когда Иван-младший выключал телевизор с вечерними новостями и в комнате становилось темно, как в погребе, — поменяли бы нашу квартиру на трешку с доплатой.

— Зачем нам трешка, — пыхтел Иван-младший, удобнее устраиваясь под одеялом, — у нас ни детей, ни родни.

— Пусть даже и не трешка, — не сдавалась жена, — а просто перебрались бы ближе к центру.

— На центр нам все равно не хватит, даже если еще пару соседских участков продать, — говорил Иван-младший и засыпал.

Потом жена мечтала о путевке на море, а в самые тяжелые времена — о бобровой шубе, чтоб до пят и с воротником. Но потом мечтать перестала и она.

Прошло еще двадцать лет. Участок зарос бурьяном, но остов дома продолжал стоять, не сгорбленный временем. Иногда, проезжая мимо родных мест на машине, Иван-младший глядел на дом в окно и словно

видел и резное крыльцо, и петушка-флюгера, скрипящего на ветру. Но хмарь видения рассеивалась, а в машине что-то начинало стучать, и в голове мелькало — вот продать бы дом, подшабашить машину, а может, и поменять вовсе...

А потом покупатель пришел к нему сам — на месте старых домов планировали строить большой жилой комплекс. Денег предлагали не много, но больше, чем единичные покупатели за все прошедшие года. Иван-младший согласился. Жена принялась придумывать, куда можно потратить свалившуюся на голову сумму.

Документы подписывались в офисе, а деньги сразу перевели на банковский счет. Ощущения совершенной сделки не было. Иван-младший перекурил у стеклянных офисных дверей, потоптался у красивой металлической урны и только потом сел в свой старый жигуленок. Эмоций от продажи так и не появилось, и он решил съездить в сам дом.

По дороге Иван-младший подумал, что, в общем-то, и не на что ему тратить такую сумму. Им с женой по шестьдесят пять лет, родителей уже похоронили, детей не родили, помогать никому не нужно. Другие страны не манят, машина еще ездит, а на смену бобровым шубам пришли легкие пуховики. Разве что так и оставить на счету, пусть лежат на черный день, если он наступит.

Калитки давно не было, и он легко зашел на участок. Дом, построен-

ный сильными руками Ивана-старшего, уверенно стоял на своем месте и смотрел в темнеющее вечером небо. Вокруг — ни огонька, ни лая собаки. Пустота.

Иван-младший представил, как по этой земле проедут бульдозеры, подминая дела деда и отца, заколотят сваи, выстроят высокие, нарядные дома. И сюда вернутся люди, но уже новые, и жизнь начнется новая, другая. И будет только свобода Ивана-младшего, с дворниками и ЖЭКом, а век свободы Ивана-старшего окончательно отойдет.

Он сел на то место, где когда-то было крыльцо, и картина двора из его детства снова живо нарисовалась перед глазами. Вот огород, вот облепиха, вот яблоня-антоновка. Здесь бабушка развешивает белье, и то парусом надувается на ветру, а тут Иван-старший мастерит теплицу. «Без работы помрешь», — говорил он.

Иван-младший вдруг впервые осознал, что Иванов больше нет — старшие в могилах, младшие так и не родились. И он давно уж не младший, и не суждено ему стать старшим, а он просто сам по себе Иван.

Теперь еще и без дома.

Стемнело. Просто Иван закурил. Он вспомнил, что отец до последнего не хотел съезжать с этой земли, даже в благоустроенную квартиру. «Что мне там делать?» — спрашивал он, а Иван не понимал, что делать здесь, с этой мифической дедовской свободой.

Порыв ветра затушил сигарету. Иван по привычке поднял глаза

наверх — флюгера давно не было, а скрип его остался. Иван вздохнул, встал и отряхнул брюки. Дома ждала жена и вечерние новости.

Когда-то Иван-старший построил дом, от первой ступеньки на крыльце до флюгера-петушка на крыше. У Ивана-старшего родился Иван-средний, а у Ивана-среднего — Иван-младший, а потом всех поглотило время — и Иванов, и их дом.

Остался только ветер да скрип от флюгера, которого больше нет.



*Арутюн Зулумян
(Санкт-Петербург)*

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

— Говоря по существу, у меня нет имени. Когда наши хозяева перегоняют нас из долины в горы или переводят в брод через реку, они нас пересчитывают. И только тогда у меня появляется номерок, но и то на весьма короткое время и каждый раз новый. Впрочем, стоит ли об этом говорить? Ведь у меня нет даже клички, как у Цезаря. Цезарь — это наша собака, которая бережно охраняет наше стадо. Отношусь я к породе тонкорунных овец «инфанто» и, пожалуй, являюсь ярко выраженным индивидуалистом. Еще ягненком я страдал от того, что живу в стаде баранов, интересы которых никак не могли совпасть с моими собственными. Я любил, отдаляясь от всех, выбираться на лужайку, предаваться глубокому созерцанию, размышлениям и мечтам. Живя в стаде, я чувствовал магическое влечение к безделью, но это меня сильно угнетало. И, возможно, по этой причине, образ злого волка, бессовестно похищающего моих братьев, казался мне не страшным, как всем остальным, а романтическим. Он привлекал меня своим умением подвергать себя огромному риску быть пойманным, завораживал своим умом и хитростью, благодаря которым, совершая свои гнусные нападки, каждый раз выбирался сухим из воды из самых невероятно сложных ситуаций, и все

попытки наших хозяев и далеко неглупого Цезаря оборачивались неудачей. До сих пор мне ни разу в жизни не удалось его увидеть, и я старался создать его образ, жадно прислушиваясь к историям хозяев о его проделках. Но в рассказах о нем каждый раз давались столь противоположные друг другу описания событий, что образ в общем-то никак не складывался, а желание его увидеть все больше и больше росло. И даже угроза быть им растерзанным не становилась для меня препятствием. И вот однажды, когда наше стадо в очередной раз выгуливалось на лужайке, и я, как обычно, отдалившись, начал наслаждаться собственным одиночеством, вдруг мой затылок пронзил чей-то жадно свербящий взгляд. Я оглянулся. Красные, жгучие глаза впились в меня с огненным напряжением. Я вдруг с неожиданной силой почувствовал, как в моих жилах остывает кровь. И тем не менее я произнес: — Так это вы — Волк? — Ого, да ты на редкость смышлен, малыш, — послышался ответ сквозь оскал. — Скажите, а вам не совестно каждый раз похищать этих бедных, беспомощных несмышленишей, не способных никому нанести вреда? — Так ведь овечки — это моя самая излюбленная пища. — А вы не страшитесь, что рано или поздно приходится за все отвечать? — бесстрашно спросил я, понимая, что за эти слова мне придется ответить незамедлительно. — И перед кем мне это надо будет сделать? — удивился Волк. — Не перед тобой ли? Следующим ша-

гом Волк вот-вот готовился броситься на меня, что и следовало ожидать, но внезапно послышался громкий шум, раздались крики и ружейные выстрелы, что изменило исход событий. В эту минуту я увидел, что там, где стоял Волк, пусто, а на его месте толпятся люди с ружьями и вилами, и громко орут, и размахивают руками, словно отгоняя стаи громадных птиц. Разочарованию моему не было предела. Рассчитывая увидеть в Волке одинокого, романтического, обездоленного судьбой героя, я обнаружил на его месте ни в чем не раскаивающегося хладнокровного убийцу. С этого мгновения я решил стать на сторону своих братьев и дать отпор всем последующим событиям, постоянно делающим их жертвами несправедливости и насилия. Но попытки убедить их собраться вместе в единый кулак и оказать волку отпор и таким образом отстоять свои права не получали никакого отклика. И я решил разрешить эту задачу самостоятельно, без чьей-либо, дополнительной, помощи. Я придумал хитрый план, каким образом это можно осуществить. И вот однажды, когда казалось, что все вокруг погружается в глубокий сон, я почувствовал, что наконец наступит одна из ночей, когда Волк готовится совершить свой очередной набег на овчарню. Чутье меня не обмануло. В полночь Волк действительно появился в овчарне, словно бесшумная тень, и начал медленно выискивать свою жертву. Я вскочил на ноги и бросился на Волка, не давая ему

возможности опомниться, стремительно юркнул в ту самую щель, в которую в овчарню проник сам Волк. Ошеломленный моими действиями, Волк бросился догонять меня. И в тот самый миг, когда казалось — он меня вот-вот схватит, я прыгнул в колодец, который уже третью неделю был вырыт нашими хозяевами. Волк, похоже, не прекращающий намерения меня схватить, бросился в колодец следом за мной. В этом заключалась моя хитрость, и она удалась. Вся эта суматоха, как и следовало ожидать, разбудила всю нашу округу. Вокруг колодца скопились: пастухи, охотники, некоторые даже прибыли из соседних деревень. Обозленные люди уже давно мечтали спустить шкуру с этого неуловимого разбойника. Волка, конечно, убили, а меня хорошенько высушив, спрятали в хлеву. Однако от всего происшедшего на душе у меня не становилось спокойнее. Страшно было осознавать, что только такой ценою может восторжествовать справедливость. А на утро пастухи решили особо торжественно отметить знаменательное событие поимки Волка и по этому поводу решили заколоть трех барашков, одним из которых был выбран я. Кто-то из соседних сторожей уверенно заявил, что наверняка после пережитого стресса пользы не выйдет. Вот такие грустные дела...

*Алексей Викторович
Зырянов (Тюмень)*

ПРОЩАНИЕ С МУЗОЙ

Траурный марш играет по карнизу серый барабанщик черных туч, ему вторит отзвук моих пальцев по столу. Я собираюсь с мыслями, чтоб записать для женщины в открытке: я тебя люблю... как друга. А пламя свечи на заставленном столе играет светом с фонарями во дворе, которые дрожат... и здесь мелькает свечка костерком на фитильке. Горелый воск — для более лиричных дум, с недавних пор я сам себя так вдохновляю на творение, создавая романтическую игру.

День удалился в темноту. И в небе звездная плеяда искрами вонзается во створы окон. Вдруг тишина изгнала суету, и дождь ушел уже далеко.

Чтоб разум свой мне усмирить, на помощь сердце призываю снова. Ведь в эту ночь я отрекаюсь от твоей руки, но не от Бога. Я должен был тебя поздравить с Новым годом. Ум требовал надежды, ну а сердце, как от внезапного осколка, плачет от бессилья, оттягивая руку от белого крыла открытки с очередным признанием к тебе... Сомнения подтвердились, подавлена душа, померкли все улыбки, искра во мне от взгляда твоего изрядно потускнела, желание любить твой образ — не сиюминутно, но... померкло. Есть ты, есть образ твой, но мне с ним не становится милее. Вживую нам идти совместно все труднее.

О, Муза во плоти, бывшая радость ты моя, я уношусь к чужим степям с потерянной душой, с загубленными мыслями обо всем былом.

Я встречи наяву не представляю. Но мысленно тебя с наигранною горечью бросаю: возьму твою ладонь, вложу в нее осенний лист шершавый, и оттолкну к твоей груди, накрыв руками. Я отдаю и ничего не требую взамен.

Период жизни миновал: за годом год. Иные дни, иной черед. И я с тобою вместе в мыслях неизменно, но лишь отчасти по причине не угасших теплых чувств. Я не менялся — ты развивалась прогрессивно, ища больших заслуг в моей наискромнейшей жизни. Я — русский литератор: мне огонек Вселенной для творения и чашечку любви твоей ответной — и большего не надо.

Ты занята, ты вся в делах, ты возжелала еще большего от дел мирских моих, а прежнего искусства — тебе мало. Я не дарил больших надежд, я опускал на землю твои мысли, ты не могла меня обидеть, ты просто отрывалась от меня... надеясь, может быть, меня заставить сделать большее, чего уже добился.

Любовные ветра и чувства стали угасать, они ушли вовне, они не греют ничего во мне. Ты, безусловно, меня старше и вправе требовать вещей материальных, славы и карьеры. Но у меня не вяжется судьба с комплектом этой жизни серой.

Ты все надеялась остаться моей музой, но чаще становилась бездной,

в которой я терял талант, когда на полуслове, полувзлете моей песни ты тормозила ход моей неторопливой речи. Я так хотел уединений и молчанья, но мои мысли ты не понимала или читала их на свой манер. Мне нужно было получить признание в ответ, но ты желала получать все сразу и вместе с новыми стихами. Я не пишу простых стихов столбами, мне больше нравится творить в свободной форме. Мне в эту прозаическую жизнь хотелось влить гармонию звучаний от себя, а не того, что в моде. Я звание поэта еще не заслужил, поэтому я в тексте прячу белые намеки строгих форм стиха. В них рифмы маловато, а больше — ровность мыслей, в них вся душа, а в ней — нет рамок.

Костер весны в душе вновь запылает рано, но будет поздно — воцарилась осень чувств, а вместе с ней — былая рана. Огонь любви не гаснет поутру, имей в виду — все в памяти хранится. На свет своей души иду один, чтоб мне не заблудиться. Уже не здесь, в миру я буду... параллельном. И буду там любить всю прежнюю тебя отдельно. Нет, мы не расстанемся во все, я просто буду долго возвращаться от тебя к себе, внутри оберегая идеальный образ счастья.

Мое отношение к тебе ни для кого не стало тайной. И даже фотографию твою представил многим лицам. И мне сказали: ты способна ждать, и это — главное. Я сам не изменился и верил в этот кроткий образ дамы сердца, но кто живет умом — в границах мира обитает, в котором

бесконечность тускло тает, чтоб четко проявился контур места быта.

Ты чувствами мне наполняла чашу жизни. Но у нее теперь на дне глухая темнота молчанья, которое все больше отнимает силы жить и рисовать по воле кисти.

До истечения лет я не пойму, что предрешило нам судьбу. Луна морщинку осветила на оголенном лбу в последнюю минуту. И в темноту сказал: «Спокойной тебе ночи... Муза! А я усну один. И пусть нам всем Господь поможет».



Йосси Кински (Москва)

ПОГОДА ЛЮБВИ

Был конец сентября. На деревьях доживали последние листья, которые в скором времени, подхваченные очередным порывом ветра, в прощальном танце побегут по мокрому мостовым. Косой моросящий дождь заставлял немногочисленных прохожих глубже прятаться в свои теплые шарфы и ускорять шаг. В такие вечера с особенным сожалением вспоминались наполненные стрекотом кузнечиков и шелестом набегающих волн дни прожитого лета.

Трое мужчин средних лет после ужина пили кофе в уютном кафе на углу Брайтон-Бич авеню. Три друга, выходцы из бывшего Советского Союза, когда-то они учились в одном классе ленинградской школы. Так получилось, что в далекие девяностые их семьи эмигрировали в Америку и поселились в Нью-Йорке. Раз в месяц они собирались, чтобы устроить шумный дружеский вечер с шутками и смехом, но в этот раз разговор как-то не клеился. Приглушенный свет и аромат дымящегося кофе действовали убаюкивающе. За широкими окнами, шелестя мокрыми шинами, проезжали разноцветные автомобили. Иногда звенел колокольчик у входа, оповещая персонал кафе о новом посетителе.

— Скучаю по Ленинграду, — отозвался один из мужчин, называя Санкт-Петербург на старый лад. —

В последнее время все чаще вспоминаю о детстве. Не знаю, может, это уже старость? Двор, рыбалка на Неве, школа... Вы помните школу? Эти колышки, забитые в деревянные перила, чтоб по ним никто не скатывался? А класс? Большой, светлый класс с фикусом у окна.

— Да, я помню тот фикус, — улыбнулся второй мужчина. — На уроках, я представлял его пальмой, а себя пиратом.

— А помните, как кто-то приду-мал, что если пожевать лист фикуса, то говорить не получится и можно не отвечать на уроке?

— Точно! Мы тогда съели почти все листья того фикуса, и потом нас еще долго называли «классом травоядных».

Каждый из мужчин с улыбкой углубился в свои полные света и детского счастья воспоминания.

— А помните Лизу? — прозвучал голос третьего мужчины. — Она училась классом ниже. Ну, та высокая рыжая девочка с длинной косой и большим белым бантом. У нее были глаза цвета весеннего неба и милые веснушки, словно звезды, рассыпанные по носику. Я был без памяти влюблен в нее! Я прибежал на час раньше, чтобы просто увидеть, как она приходит в школу, а потом ждал и провожал до дома и так и не решился подойти. После девятого класса она куда-то запропастилась. Ребята из ее класса сказали, будто уехала с родителями в другой город. Так я ее и потерял.

— Да, я помню эту девочку, — глядя в окно, произнес второй мужчина. — Но она никогда не носила белый бант. И у нее были не рыжие, а каштановые, доходившие до плеч волосы. Она была отличницей, так что все учителя ставили ее в пример другим детям. Ее голубенькая юбочка до сих пор у меня перед глазами. Я тоже любил ее, но в ту осень тоже потерял. Помню, я даже у тебя невзначай поинтересовался о ней, но ты тогда мне ничего путного не ответил.

— Вы про ту, что жила напротив детского магазина? — спросил третий мужчина.

— Да, кажется, она там жила.

— Но у нее никогда не было длинных волос. Сколько я ее помню, она всегда стриглась под мальчишку. Девочка с такими большими карими глазами. И голос звонкий-звонкий, как поющий колокольчик. Ее улыбка до сих пор снится мне по ночам. Я был влюблен в нее с восьмого класса и тайком подкидывал ей под дверь подарки. Теперь это кажется смешным, но как же я был тогда счастлив, когда представлял, как она открывает дверь и видит на полу цветок и какую-нибудь блестящую безделушку. М-да... Были времена. Ее родители служили в обкоме партии. И, по-моему, тоже уехали из разваливавшейся страны.

Повисло грустное молчание.

Желтый лист, подхваченный ветром, покружился над мостовой, шлепнулся о мокрое окно и, прилепившись к стеклу, так и остался висеть. Со стороны было похоже, будто,

прильнув к стеклу, он с горечью ищет кого-то внутри, где тепло и уютно. Разноцветные машины все так же проносились по широкому проспекту, рассекая пелену мелкого дождя. Мужчины в молчании смотрели в окно и тосковали по девочке, стриженной под мальчишку, с большими карими глазами, одетой в голубую юбку.

И с голосом — таким далеким, звонким-звонким, как поющий колокольчик.



*Александр Юрьевич
Колесников (Москва)*

КУСОЧЕК САХАРА

Дома было сумрачно. За окном светило яркое солнце, но дома почему-то все шторы были задернуты. Везде, кроме кухни. Шторы были темно-зеленые, поэтому создавали в комнатах какой-то зловещий оттенок. Мама и папа молчали, только тихо ходили по комнатам, не разговаривая. Папа чаще обычного выходил в коридор. Когда возвращался, от него пахло табаком.

Когда Юрку уложили спать, он услышал, как плачет мама. Он тихо встал с кровати и в темноте, на цыпочках, прокрался в соседнюю комнату. В ней было темно, и его не было видно из кухни, в которой горел свет. Мама сидела на стуле и плакала, а папа нервно курил в форточку и молчал.

Юрка не знал, почему плачет мама и отчего в доме такая зловещая тишина, но инстинктивно понимал: случилось что-то ужасное. Что именно случилось, он не знал. Не мог знать. Ему никто ничего не говорил. Юрка тоже молчал, копируя поведение родителей. Вернувшись в постель, он задумался.

«Что же случилось?»

С этой мыслью он и уснул.

Утром Юрка узнал причину. По обрывкам родительских фраз он понял, что не стало его прабабушки, которая жила в другом городе. Далеко-далеко...

Свою прабабушку Юрка любил и, так как она была старше бабушки, называл ее «старенькой».

Как и все бабушки, прабабушка была очень доброй. Но вместе с тем она была и строгой. От своих многочисленных внуков и правнуков она, воспитанная еще при Российской империи, требовала примерного послушания. Но требовала любя, по-доброму.

Когда Юрка был еще меньше и не особо-то слушался, прабабушка брала в руки веник и искала правнука по всем комнатам.

— Где же этот непослушный мальчик? — приговаривала она, намереваясь непременно наказать нашкодившего Юрку.

Тот прятался под круглым обеденным столом, думая, что здесь его никто не найдет, не накажет.

Прабабушка ходила с веником вокруг стола, делая вид, что не видит правнука:

— Куда же спрятался этот непослушный мальчик? Где же он есть?

Юрка смотрел из-под стола на прабабушкин халат, на ее домашние калоши, на угрожающий веник в руке, думая, что он вне опасности.

Когда они приезжали к прабабушке, то иногда она, особенно по воскресеньям, выходила с Юркой в город. Жили они на окраине, и до центра нужно было добираться на автобусе.

В центр они ездили не просто так. Вместе с прабабушкой, тайком от мамы и папы, Юрка ходил в... церковь. Благо, Церковь Святого Михаила Архангела находилась в самом

центре. Почему тайком? В советское время в церковь ходить было нельзя — могли наказать на работе. Посещение церкви было делом не советским.

По дороге в церковь, по обычаю, Юрка тянул прабабушку за черный бархатный сюртук, выпрашивая сладости:

— Ба! Есть кусочек сахара? А? Или конфетка?

Он знал, что в кармашке черного сюртука для него всегда были припасены сладости. В маленьком кармашке всегда что-то водилось: то конфетка, то кусочек сахара... Что-нибудь да было. Конфетки были в основном карамельные, а сахарок — настоящий, кусковой. Юрке почему-то больше нравился именно сахар. Он был крепкий и вкусный. Дома его запивали горячим чаем, а в дороге можно было есть и так — тоже вкусно!

— На, внучек, сахарок!

Юрка хорошо помнил лицо священника, который однажды кормил его сладкой кашей с изюмом. В тот воскресный день светило яркое солнце, слышался колокольный звон, и — сладкая каша! Почему-то все это врезалось в Юркину память на всю жизнь.

Спустя полгода после печального известия Юрка оказался, наконец, в городе, где жила его прабабушка. Вместе с мамой они долго ехали из аэропорта на автобусе, а Юрка думал и думал о своем.

«Как же так? Неужели, когда я войду в комнату, моей прабабушки там не будет? Никогда уже не будет?»

Эта мысль не укладывалась у него в голове, не давала покоя. С мамой своими переживаниями Юрка не делился. Он был уже совсем большой — как-никак в первом классе, — поэтому до всего должен был доходить сам, без посторонней помощи. Так его приучили на улице, во дворе.

Дверь открыла бабушка. Она схватила Юрку в охапку и расцеловала в обе щеки. Своей бабушке Юрка, конечно же, тоже был рад, но думал по-прежнему о другом. И эта мысль не давала ему покоя.

«Что же будет, когда я войду в комнату?»

Он долго не заходил в комнату прабабушки, искоса поглядывая на закрытую дверь. Юрка знал, что рано или поздно ему придется сделать это. Придется войти. Но он всячески оттягивал этот момент.

У круглого обеденного стола хлопотали мама и бабушка, а Юрка, сидя на стуле, украдкой поглядывал на закрытую дверь. Именно под этим столом он прятался когда-то от прабабушки, а та искала его с веником в руках. Юрка понимал, что больше это уже не повторится...

Наконец, собрав в кулак всю свою смелость, Юрка решился.

Он встал со стула и медленно подошел к закрытой двери. Приоткрыв ее, сделал первый шаг...

В комнате никого не было. Юрка прикрыл за собой дверь и огляделся.

К его удивлению, в комнате ничего не изменилось. Все стояло на прежних местах: старый деревян-

ный шкаф с посудой, заправленная кровать...

В углу возле кровати стояли калоши. Юрке на мгновение вдруг подумалось, что его прабабушка сейчас где-то здесь, в квартире. Вот сейчас откроется дверь, и она войдет... Но он понимал, что так уже не будет.

К шкафу, над кроватью, была прибита деревянная вешалка. Юрка сразу же увидел знакомый сюртук. Это был тот самый черный сюртук, в котором прабабушка ходила в церковь.

Юрка смотрел на знакомый сюртук, и в голове его никак не укладывалось, что он никогда уже не увидит прабабушку... Это было как-то... противостоительно для него.

«Как же это так? Почему так происходит?»

Задумавшись, Юрка запустил в карман бархатного сюртука свою руку. Неожиданно на дне кармана нащупалось что-то твердое. Спустя мгновение Юрка вытащил оттуда... кусочек сахара.

О боже! Это был его любимый кусочек сахара!

В этот момент Юрку неожиданно осенило. Держа в руке сахарок, он вдруг сразу все понял.

— Спасибо, бабуля, — вслух сказал Юрка и, вытирая слезы, положил в рот любимую сладость.

Он точно знал, что этот кусочек сахара прабабушка оставила именно для него. Он также знал, что сейчас она была где-то рядом. Быть может, совсем рядом. В этой самой комнате...

*Юлия Анатольевна
Нифонтова
(Барнаул, Алтайский край)*

ПИМ АНДРЕИЧ
/Бабушкины былі́чки/

Донюшка, тудыличи все пытала ты меня, идтить табе к колдовке аль нет. Страшно ведь это — с колдунами-то связываться! Вот хочу рассказать, какой у нас в деревне колдун был. В то времечко в Воскресенке еще жили старым укладом. Охы, хорошо было.

Хата того колдуна на самом краю села стояла, окнами в лес. Сколько лет деду — неведомо. Называли Пим Андреич. Ходил в исподнем — в подштанниках, длинной холщовой рубаше, борода до пояса.

Один раз удумали парни залезти к нему в огород. Самогонки напились, раздухарились. Зачинщик — Петро́-сволота́, а за ним и Панька Кондрашкин увязался. Третий у них — Илько́-навосля́тина¹. Кудрявый, статный, да только никто за него замуж че-то не шел.

Уж шибко на пим-андреевском огороде все перло, как на дрожжах, и земля прям пушная. Не то, что у нас. Быва́лыча копашь ее, копашь, а она все, как печери́ка²!

1 *Новослятина* (устар. диалект) — новосел, переселенец.

2 *Печерика* (устар. диалект) — твердая, неплодородная земля.

Ну, залезли, значить, наши молодчики. Натрескались от пуза, да ишшо по полному подолу урожаю надергали. А как повернули назад, домой, тут и встал перед ними забор невиданный. Ни обойти — ни перелезти. Уж они и так и сяк, ан нет дороги!

Ночь на дворе. Темень, что твоя сажа в дымоходе! Луна закрáснилась, как глаз у быка — кровью налитой. Напал тут на них смёртный страх. Овощи побросали и давай дружно молитву вспоминать. А страх не уходит — ишшо пуще их в пот кидат. Тени, вишь, каки-то жутки к ним лезут. И хмель прошел, и жратва дармовая — не впрок!

Аж до самых первых петухов их трясло. А как свётло забрезжило, выходит из хаты сам Пим Андреич. Стоит перед ими — белый с ног до головы, будто маленько светится:

— Ну, что, — говорит, — ребята, с чем пожаловали?

Панька Кондрашкин да Илько́-навосля́тина на колени падают:

— Прости нас, дедушко! Мы больше ни в жисть!

А Петро-сволота́ набычился, что звери́на:

— Ща как, — говорит, — заеду тебе по мордасам, старый! Выпускай, не то огребешься!

А Пим Андреич ему этак тихохонько отвечает, словно не обидемшись:

— Заедешь, сынок, заедешь...

Тут заборище стал таять-таять и пропал вовсе. Парни деру.

А по зиме слова эти «заедешь», мол, «сынок, заедешь» точно и сбы-

лись. Пьянуший Петро́ в колхозную контору прям на коне и заехал, да хотел всех плеткой стегать. Тогда ужо советска власть пришла. Вот и сослали болезного в Нарым. А он думал, дальше Сибири не сошлют, как бы не так. Это тебе не жену вокруг бани гонять.

А вот ишшо случа́й. В соседях у нас жили муж с женой. Она Палагея — баба пúтная, но волка́-волко́й. Да и будешь тут сердитой, ежли мужик-то пьюшый да гуляшый. Он, вобще-то, когда тверёзый, то ишшо ничего. Дельный — руки откудова надо растут. Но как нажрёцца — все! Изголялси, изменял её...

Надоела Палагее така жись, и пошла она у Пим Андреича помошши просить. Принесла с собой бутуляку медовухи. Колдун пошептал-пошептал прям в горлышко и велел ее споить мужу-ханьжке. Долго ждать не пришлось — на этой же неделе родительский день выдался, Гараська за помин души родителей всю бутуляку приголубил прям на кладбище.

Возвращался с могилок, а до дому не дошел. Упал в лужу и валялся там вместе с поросями. А лужа огромна. Свиноматки с поросяточками лежат, как на пляже. К вечеру оклемался Гараська. Хочет встать, а не может. Поднял рожу из грязи, и язык отнялся от ужаса.

Свиньи вдруг стали меняться на глазах — и вот уж настояшши бесы в луже близехонько — только руку протяни, крутятся веретеном! А уж верешшат такими писклявыми голосами — кровь в жилах стынет!

Гараська зараз поседел бедный. Ползет, как наш пес с перебитыми ногами, изо всех сил — а токма на граммулечку и подвигается. Кричит, а звука не слышно! С той поры никогда не пил больше — как рукой сняло.

Вот тебе ишшо пример. Была у нас в деревне девчушка Зоя Митина — певунья да плясунья. Сама из себя пику́шечка, а голос звонкий. На свадьбах песнями зарабатывала, да так успешно, что ейный тятя на те заработки новый плут купил. А это в то время — большое достижение!

Стала совецка власть нашу церкву ломать. Когда кресты с колоколами снимали — бабы голосили, словно война пришла. Народ святые иконы по подпольям да чердакам прятал. Стены били, ломали, кувалдами, да ни кусочка не откололи. Ну, тады порешили храм в клуб переоборудовать.

На открытие «нового» клуба согнали всю деревню. Пожилые стоят — ка́знятся, на сцене Зоя Митина отплясывает, аж каблучки выговаривают. А ведь приказывал ейный тятя, чтоб не смела сквернить святые стены:

— Что-то там есть наверху, смотри, накажет!

Вот и наделала себе делóв. Наплясалась, напелась, а как пришла домой, так и слегла — ноги отнялись. Стали, как вáтны — не дёржут и все тут!

Два ведра слез вылила Зоя Митина и ее родители. Пим Андреич к ним сам пришел. В аккурат на пасхальну седмицу. Молились день и ночь, потом он ноги ей обмыл и удалился, ничо не сказал, ничо не

пообещал. Но с того дня начала Зоя вставать потихоньку, а как окрепла — ушла, говорят, в монастырь.

Вот такие ранешние колдуны-то были, не то что современны́е. Обдирают дураков доверчивых, да и все! Нету щас таких — настоящих. Не ходи, доня, не трать зазря деньги! А лучше сходи в церкву, щас ведь можно!

Я как почуяла моёй жизни конец, попросила, чтоб меня в церкву свезли. А там, на одной иконе, которая слева от входа — вылитый он, Пим Андреич, и борода така же и взгляд, как у ребенычка, а можа, показалось мне сослепу.

Вот ты спрашивала: привораживать тебе дроличку своёва или нет, не делай, донюшка, не грешись. Подойди лучше к иконочке, попроси...

Да приходи скорее ко мне на могилочку, как навроде рядушком посидим, словно бы мы снова — единая семья. Да подай милостыньку дедушке без ног, что у главпочтамта побираица, пусть помолица за меня — его молитва светлая, быстрая.

А щас спи, доня, я к табе скоро ишшо в гости приду, спи...



*Юрий Лугин
(Юрий Леонидович Лукин)
(Ивангород)*

КАБЫСДОШ

Одиннадцатого октября Оляка приехала из Кирова. Подарков всем навезла, а лично мне — велик, правда, из-за прочих вещей и коробок, оставленный на разъезде в будке путевого обходчика.

А за ужином сестрица объявила: ее Алексей в четверг приедет. Батя оладушек выронил и локтем по коленке вдарил: «Йес!» Мама засуетилась, запричитала на тему, как дорогого гостя встретить. Понятно, кандидат в зятя. Хоть и городской, но не из бестолковых. До любого труда горячий, по механизмам спец крутейший и вообще пареньь рукастый. Минут пятнадцать поковыряется, и у него самый убитый прибор лучше нового работает.

— Вари, мать, пиво, — сказал отец, потянувшись за следующим оладушком. — В субботу баньку истопим... — и глаза у бати сощурились, как у нашего кота Мироеда, когда мы сепаратор включаем.

— Алексей не один собирался приехать, — сказала Оляка.

Батя снова оладушек уронил, а мама на краешек скамьи присела.

— Вау! — сказал я. — Это типа смотрины будут?

— Ну да, — заявила Оляка. — Свадьба, мы с Алексеем договорились, в феврале.

Отец с шумом поднялся из-за стола:

— Тогда, мать, больше пива вари! А я в Семушино поехал прикупить кой-чего!

Короче, утром я только про велик и Олькину свадьбу думал — и пока ножками по грунтовке до полустанка грязь месил, и когда в электричке ехал, и когда последние полкилометра от Вахрушинского вокзала до школы асфальт топтал. И в школе та же история. На физике так завис, что лишь после замечания Ольги Федоровны в тему урока въехал.

Время тянулось, типа оно резиновое. Едва дождался, когда занятия закончатся — и на вокзал бегом. И как назло, когда я уже в электричке к Рехино подъезжал, начался ливень, будто не середина октября на дворе, а конец июня.

Картина маслом: деревенский придурак на вихляющем в раскисшей колее велике, мокрый и грязью изгвазданный по самое не могу.

Правда, ехал я грустно, но не одиноко — рядом, брезгливо отряхивая с лап комья глины, семенил Кабысдош.

Я его еще через окошко в тамбуре заметил: сидит флегматичная зверюга под навесом торгового ларька, уши обвисли, сам печальный такой... Артист, блин. Величиной с теленка, зубищами может шину от «уазика» прокусить, а если неожиданно из кустов выскочит, реально зайкой можно стать. И при этом способен, зараза, такую невинность щенячьей изобразить, что даже детишки малые к нему

без опаски тянутся, в пузо кулаками метелят, верхом на нем катаются, уши бантиком завязывают, а он терпит, ухмыляется...

Велосипед, который я выкатил из будки обходчика, Кабысдошу не понравился:

— Гав...но!

— Сам ты!.. Ты вот на своих четверых побежишь, а я ехать буду!

— Ха! — Кабысдош задрал заднюю лапу над передним колесом... и отошел, не подписавшись. Приколист, блин.

И ведь прав оказался, скептик блохастый! Четыре с небольшого километра пилил я больше часа. Промок насквозь, со счета сбился, сколько раз падал. Пришлось даже с раскисшей по самое не могу грунтовки от Межниковской пашни свернуть на лесную тропу в сторону Костенников. Порядком дальше, но ехать легче, успевай только от еловых веток уворачиваться.

У Чавкиного болота я притормозил и Кабысдошу крикнул:

— Подругу свою помнишь?

Кабысдош присел, голову между передних лап опустил, вздохнул...

Десятилеткой меня однажды взяли сестры за малиной. Сунули в руки двухлитровый бидончик, вывели на полянку с несколькими чахлыми кустиками: «Здесь собирай и отсюда ни шагу!»

Малина на кустах закончилась быстро, и я незаметно забурился в чашу. Нашел овражек, где созревшими в тени, крупными ягодами бидончик с горкой набил за меньше

часа, сам от копчика по ноздри ужрялся и, наконец, сообразил — сестренка-то рядом нетути и не слышать. Заорал «Ау!» во все горло, услышал Танькин голос издалека слева, рванулся на него, выскочил на полянку и увидел собаку, похожую на овчарку.

Пригляделся: а глаза у собаки желтые и морда шире. Моментом в животе заглодело. Но до конца не вверилось, что все не понарошку.

Я шаг назад, и волчица шаг. Я еще — и она еще. Потом головой покачала: «За мной не ходи!» — и в кусты...

С тех пор я к волкам с симпатией отношусь, и здесь у нас с Кабысдошкой полное единство. Защитник стад и пажитей наших, он, если надо, любого волка влегкую уделает. Семушинские собаки от него, невозмутимого, убегая, через забор что твои кенгуру прыгают. Но однажды позапрошлым летом увязался он за мной на Лещиху купаться. Вперед меня речку переплыл и потерялся куда-то. Ну и я — за ним. Из камышей осторожно выглянул и вижу: валяется Кабысдошина на песчаном пригорке, жизнью довольный, как слива в шоколаде, а по нему волчата в количестве четырех штук ползают. Если бы не собственными глазами, никогда бы не поверил. Волчица — чуть поодаль. Та самая, что меня помиловала. Головой на передние лапы опустила, следит за мелочью, и морда у нее тоже довольная...

У Аннушкиного ручья незадолго до поворота на грунтовку я ка-

питально навернулся. Показалось: слева блеснуло что-то, и не заметил, как колесо по осклизлому корню юзом пошло, ну а я через руль — рыбкой.

Приложился крепко. Даже сознание потерял. Очнулся, когда Кабысдош меня в ухо лизнул и тормозить начал.

Между тем капитально стемнело. Еще полчаса — и фиг бы я из ночного леса выбрался, не будь Кабысдошки рядом. Так что помотал я головой, чтобы шарики с роликами по местам разъехались, отряхнулся, сел на велик, собакену крикнул: «Веди, Сусанин!» — и дальше покатил.

Минут через пятнадцать въехал на околицу, а еще через пять скидывал в сених мокрую одежду, чтобы не тащить грязь в горницу.

Радость по поводу моего возвращения лаконичнее всех батя выразил:

— Живой, мля!

И ушел по телику футбол досматривать.

Мамуля слезу смахнула, выдала мне чистые штаны и рубаху, сестрицы два ведерных чугунка горячей воды организовали. Помыться и согреться хватило.

За ужином я из шести положенных мне сырников три штуки затырил, а после украдкой Кабысдошке скормил. За уши его потрепал, башкой к себе прижал:

— Выходит, ты меня специально на полустанке ждал?

— Ага-в!

У меня в горле запершило, в глаза будто бы соринка попала, и минут десять еще мы с собачьим сыном, обнявшись, на крылечке просидели.

